

Публикацию подготовил **Юрий Беликов**:
она согласована с героем **Сергеем Кузнечихиным**

Этот материал в «45-й параллели» был представлен следующим образом:

«Ежели когда-нибудь в будущем решат поставить памятник дикороссу, не надо метаться в поисках натуры – сей замысел нужно воплощать по образу и подобию Кузнечихина».

Это слова Юрия Беликова, живущего в Перми поэта и основателя «движения дикороссов». И предшествуют они обширному и, с нашей точки зрения, увлекательному диалогу двух поэтических братьев, который открывает рубрику «Дин» юбилей в 4-м номере родственного «45-й параллели» литературно-художественного журнала «День и ночь». «Сказ о сорной рыбе, или Пьющий из проруби» – так озаглавлен этот диалог, а посвящён он круглой дате – 70-летию замечательного красноярского поэта и прозаика Сергея Кузнечихина, которое нагрянуло 14 июля сего года.

Кто-то скажет: «Прозагарили!» Ан нет. Юбилей, он весь год юбилей. Тем более, когда речь об одном из любимых авторов – обладателе Гран-при интернет-марафона «Сокровенные свирели «45-й параллели» и прилагающегося к этому марафону главного приза – «Золотой розе».

«Местное время», «Дополнительное время», «Уходящее время» – вот названия стихотворных книг Кузнечихина (а их, разумеется, неизмеримо больше), свидетельствующих о том, какое внимание мастер уделяет категории Времени. А по волнам сего Времени плывёт таинственная «Бич-рыба» – недавно выплеснувшая из глубин столичного издательства «Эксмо» мощная книга кузнечихинской прозы.

О чём этот диалог? О категории Времени, о «Бич-рыбе», о дикоросском сознании, о том, кого можно «записать в дикороссы», а кого – нет.

Итак...

Когда-то, в прошлой жизни я обитал в Переделкино. Дача, где меня приютили на зиму, располагалась напротив дома Булата Окуджавы. Иногда я встречал его – в телогреечке, в грузинской войлочной круглой шапочке. Но никогда не возникало дикого желания познакомиться. Во-первых, не привык навязывать собственного сообщества. Во-вторых, круг моих друзей-собеседников, о существовании которых Булат Шалвович и другие именитые москвичи, вероятно, даже и не подозревали, значил для меня гораздо больше. Круг мой – это Юрий Влодов, Сергей Нохрин, Михаил Тарковский, Сергей Князев... Намеренно ставлю многоточие, ибо названными фигурами он, разумеется, не исчерпывается. Впрочем, Тарковского, должно быть, именитые знали, но

исключительно – как носителя «столбовой» фамилии. Иногда вечерами мы устраивали в стенах редакции журнала «Юность», где я тогда работал, заседания «теневого редколлегии». Засыпали прямо там, в кабинете главного редактора – на сдвинутых стульях.

Помнится, в те же годы я познакомился и с Сергеем Даниловичем Кузнечихиным – сначала с его прозой и стихами, а затем – с ним самим. И он тоже пополнил круг моих друзей и писателей, которых я неизменно читаю и ценю. Пытался опубликовать его рассказы в «Юности», да меня вскоре от неё отлучили – «за смуту».

– «За смуту», – это же хорошо! – ободрил меня Эдуард Лимонов. Ранее, словно предвидя, я написал:

Он пахнул смолой и смутой.

И вскоре уснул без сил.

И долго Иван кому-то

во сне кулаком грозил...

Несмотря на то, что смутьяны во все времена у чиновников, стражей порядка и обывателей не в почёте, это про таких вот мужиков, как Кузнечихин. Он и на зоне был бы мужиком, и в миру – мужик. То рыбу ловит, то грибы собирает, то папоротник заготавливает. Заметьте: иные витии ждут-не дождутся, когда папоротник расцветёт, а Данилыч занят его заготовкой. Витамины, однако. Мощный фильтр от радиоактивных пакостей. Кузнечихин и в писаниях своих – мужик. Егор Прокудин из «Калины красной». Прикиньте: много ли в теперешней литературе нашей мужиков? Либо паханы, либо шныри-шестёрки, либо фразеры-толерасты... А мужики... Есть, конечно. Но – наперечёт.

И я радуюсь, что в столичном издательстве «Эксмо» это оценили. Когда-то Владимир Корнилов, один из почитаемых Данилычем поэтов, определил русский масштаб: «Но единственно, что я понял: жить в России надобно долго». Сергей Данилович, что называется, поставил этот эксперимент на себе.

Дождался-таки, когда накануне его семидесятилетия из народных глубин выплеснется кузнечихинская «Бич-рыба» вся в ржавых крючках, поелику, сколько разов с них срывалась, зато с чешуёй из светящихся букв: «*Проза Сергея Даниловича Кузнечихина – крупное явление русского искусства, со времён своего Золотого века существующего под мусорной горой официоза.*

Это искусство, как ему и положено, никогда не было равно советской литературе, не вламывается оно и в рамки нынешних откровенно коммерческих или псевдоинтеллектуальных проектов».

Сие «явление» мне довелось лицезреть и на берегу ещё не оттаявшего Байкала, где мы пили на пару из горла, закусывая сладким ветром; и на фоне каменного профиля Макса Волошина, где пинала нас под зад коктебельская фестивальная волна; и на сцене московского Домжура, откуда по просьбе автора я читал нежнейше-редкостное кузнечихинское «Потом два сердечка, что в ставнях

прорезаны, /зажглись и не гасли уже до утра», а вечная стражница собственных эмоций Марина Кудимова восклицала из зала: «Класс!»; и на «струге Ермака» в парке истории реки Чусовой, с коего под пеленой дождя, съедающего зрителей, Данилыч оглашал свои дикоросские строфы:

Бронза на Руси всегда свинцова.

Храм нетрудно превратить в тюрьму.

Вологда, убившая Рубцова,

Памятник поставила ему...

Тогда мне подумалось: «Вот если бы сейчас Ермак Тимофеевич вновь набирал охотников для своего исторического похода, но уже не Восток, а на Запад, он непременно пригласил бы одним из атаманов Сергея Даниловича». И ещё: «Ежели когда-нибудь в будущем решат поставить памятник дикороссу, не надо метаться в поисках натуры – сей замысел нужно воплощать по образу и подобию Кузнечихина».

– Данилыч, я знаю, что ты можешь сейчас перечислить писательские имена, не входящие в обойму авторов, которые у всех на слуху. Не ошибусь, если назову в ряду твоих избранных Александра Тинякова, Анну Баркову, Аркадия Кутилова, Льва Тарана... Так и слышишь реплику одного из персонажей кузнечихинского рассказа «Момчик»:

«Слушай, а может... забыли твоего момчика в энциклопедию внести?» Но для тебя не внесённые в обойму «момчики», частенько значат больше, нежели те, «энциклопедические»? В России всё время так: есть официальная литература и есть литература отшибная, обочинная, которую та же официальная презрительно именуется второстепенной. А может эта, отшибная литература, действительно второстепенная, и мы сжились-смирелись, по выражению Виктора Астафьева, с участием областных и краевых авторов? И нас вполне устраивает собственная ущербность? Или надо разбираться с каждым случаем в отдельности, как, допустим, с печальным примером покончившего с собой во Владивостоке поэта Геннадия Лысенко, который, на твой взгляд, был не хуже Рубцова, да не нашлось сапога, раздувающего этот самовар?..

– Юра, ты же сам когда-то написал в той же «Юности»: «Известность – подруга таланта, но талант ей не друг». Можно сколько угодно искушать читателей утверждениями типа «всемирно любимый поэт». А я пожимаю плечами: если поэт действительно всемирно любим, это не требует никаких марочных наклеек. Стало быть, у штампуемых марочные наклейки большие на сей счёт сомнения. Полагаю, нет смысла доказывать, что известность не имеет никакого отношения к качеству текстов. Впрочем, и понятие качества весьма относительно. Литература не спорт, где результаты чётко измеряются секундами, сантиметрами или килограммами. Здесь всё субъективно, а субъекты гнездятся в столицах.

Более того, если и появляются критики, живущие в областных центрах, то местные авторы (не считая литературного начальства) их не интересуют, потому что критики те пишут о столичной литературе в надежде засветиться в лучах чужой славы. А «обочинные» или «отшибные», как ты выразился, прозябают в тени и потихоньку теряют уверенность в себе и спиваются. Наиболее амбициозные уезжают спиваться в столицу. Потом возвращаются. Очень накатанная дорога. Так было всегда и, боюсь, что в лучшую сторону ничего не изменится.

Ты назвал талантливого поэта Геннадия Лысенко, покончившего с собой во Владивостоке. Но живёт, к примеру, в Нижнем Новгороде Елена Крюкова. Очень яркая поэтесса. Вроде и в Москве покрутилась, и маститые критики о ней что-то писали, однако уехала домой и выпала из поля зрения...

– Но только – не зрения дикороссов. Я помню стихи Лены:

*Ты юродка, воробей, птаха-плаха, птенчик милый,
Приручительша зверей в боевом зверинце мира,
Просто с Города-Китай, просто нищенка с Таганки,
Просто выгнал тебя Рай с золотой своей гулянки.*

Это – из той общей и мощной дикороссовской подборки, которую дал, как ни странно, в две тысячи десятом году журнал «Киевская Русь», публикующий авторов преимущественно на украинском, а тогда напечатавший их исключительно на русском. С признанием устами главного редактора этого журнала Дмитро Стуса, что «поети-дикоросси унікальне явище в російській поезії...» Ты ведь тоже был участником той дикороссовской вылазки в пределы Украины?

– Да. Вместе с Аней Павловской и уже покойным Прокошиным. Кстати, у меня есть большой цикл, можно сказать, книга – «Там гибли поэты». О них (или о нас) – жителях провинции, вступивших на эту скользкую дорогу, о тех, кто не смог смириться с ущербной участью местного поэта.

– Тогда можно я напомним слова одной из твоих героинь? «Ты думаешь, в провинции они благороднее, чем в столице? – спрашивает она. И отвечает: Заблуждаешься. Да ну их. Никого не хочу видеть и говорить о них не хочу». Но я-то говорить о них хочу. И поэтому любопытствую: обозначение главок этого твоего сочинения – «Поэт В.», «Поэт Т.» или «Поэт Ч.» – прозрачная шифровка реальных красноярских персонажей или – стилизация под шифровку? И, если всё и все узнаваемы, как в этом случае восприняли цикл «Там гибли поэты» (ведь он большей частью опубликован?) сами узнаваемые и те, кто их узнавал?

– Конечно, это стилизация. Два рассказа даже стилизованы под мои личные воспоминания. Возьмём рассказ «Поэт Ч.», в котором герой-геолог пишет стихи за не воевавшего ветерана войны, потом кончает жизнь самоубийством. Я знал, что похожий путь прошёл Павел Мелёхин. Мы не были знакомы. Всё, что происходит в рассказе, – плод воображения. Но меня заинтересовала психология

и мотивация «литературного негра» советских времён. Ты дружил с Влодовым, которого, по праву можно назвать «негром № 1», и написал о нём в «Юности» интереснейшее эссе.

– Кстати, Влодов знал Мелёхина. Или, как сказал бы сам Влодов, это Мелёхин знал Влодова...

– Наши герои чуть ли не антиподы. Подозреваю, что Мелёхин был ближе к Влодову, нежели к моему геологу, хотя Влодов дожил до преклонных лет, а Мелёхин и мой герой не выдержали нагрузки. Теперь, когда статус поэта, мягко говоря, снизился, о поэтических заработках даже и заикаться нет смысла, их маленький «бизнес» полностью перешёл в прозу и процветает в ней почти легально, символизируя время эрзацев и мнимых величин.

В других рассказах цикла доля документальности тоже не велика, но все они спровоцированы реальными судьбами. Писал я в основном об ушедших, поэтому «прототипы» претензий не предъявляли. А узнавания были. Один из моих старых знакомых, почитав «Поэты А. и Я.», сказал: «Как точно ты описал Рубцова, словно не один литр с ним выпил!» Не захотел мой знакомый узнавать себя, любимого. Или поскромничал? Разубеждать я не стал.

– Если помнишь, у Бориса Корнилова есть такие строки:

Айда, голубарь, пошевеливай, трогай,

Бродяга, – мой конь вороной!

Все люди – как люди, поедут дорогой,

А мы пронесём стороной...

Считаешь ли ты, переваливший свой семидесятилетний рубеж, что так оно и произошло: поэта и прозаика Сергея Кузнечихина «пронесло стороной»? От мейнстрима, как любят изъясняться некоторые. А может, и хорошо, что «пронесло»? Как в твоём давнем стихотворении «Гост-1984»:

Ну что же, мой друг, мы привычные,

Пускай не по нраву шашлычная,

Но, коли пришли, посидим.

На этом пиру не участники,

а всё же возьмём собачатинки,

поморщимся, но ведь съедим...

Другие-то не «булькали под столиком» и «шёпотом не сдвигали стаканы бумажные». Вот и пусть теперь завидками исходят...

– Один молодой поэт, почитав «истории Петухова», признался, что завидует моему богатому жизненному опыту. Что-то, конечно, довелось повидать, попробовать на вкус, но знаю очень много людей с более кудрявыми биографиями. Я, допустим, не воевал, не сидел и женат всего один раз. Список

пробелов можно продолжить. В молодые годы тянуло на приключения, иногда искал их вопреки здравому смыслу, на то и молодые годы.

«Мейнстрим» звучит ужасно, мне ближе – «большак» или – «столбовая дорога», но только как слова. Меня на те «большаки» и «столбовые дороги» не тянуло и не тянет. Когда заканчивал институт в Калининe, нынешней Твери, на распределение к нам приехал мужичок и заявил, что в тридцати пяти минутах езды от Курского вокзала есть станция Электроугли, там открывается новый НИИ. Ему требовалось пятнадцать человек, предпочтительно мужского пола. Он увлекательно расписывал перспективы защиты диссертации, получения квартиры, карьерного роста. Я даже не слушал его, потому как был нацелен на Сибирь. С той поры живу в Сибири. А лет десять назад задал себе вопрос – как бы сложилась жизнь, если бы я клюнул на подмосковную наживку? Защитил бы диссертацию или нет – зависит от везения, квартиру бы получил быстрее, чем в Красноярске. Но о чём бы я писал? К тому времени было закончено около сотни стихотворений и мне казалось – неплохих. Теперь оставил из них меньше десятка. А вот в какую сторону понесло бы мои дальнейшие писания? Честно скажу – не знаю. Я задал этот вопрос ближайшему другу. Он: «Стал бы известным поэтом, мэтром».

Сомневаюсь. Подозреваю, что мог бы вообще завязать. А если бы продолжил, то получился бы совсем другой автор. Но ни в коем случае не человек мейнстрима. Это не в моём характере.

– Он-то тебя, очевидно, и подвиг составить поэтическую антологию «Свойства страсти», которая, несмотря на свой «фантастический» тираж – пятьдесят экземпляров – тем не менее, привлекла внимание и читателей, и прессы. И дело здесь не в заимствованном у Пастернака названии, а в материи, из которой это словосочетание слеplено. Таким уж Господь создал человека, что последнего по большей части интересует, скажем, не истовость молитвы принявшего постриг, а как он, принявший постриг, борется со страстями. И тут стихотворение «Любовь на Кунцевской даче» Павла Васильева, включённое тобой в антологию, выглядит, безусловно, помощнее пушкинского «Я помню чудное мгновенье...» Вернее, они – разных весовых категорий... В этом смысле почему тебя притягивает именно страсть как предмет изображения, а не утончённое любовное чувство? И кто из авторов «Свойств страсти» наиболее полно выражает и оправдывает ту особенность, за которую ты рекрутировал их в свои антологические тенёта?

– Один наш общий приятель выпустил книгу собственных стихов под этим наименованием и посчитал, что я заимствовал для антологии заголовки у него, а не у Пастернака. Вариантов названий было много. Дольше всех продержалось «Любови тяжёлое дыхание». Ты правильно подумал. Отталкивался от «Лёгкого дыхания» Бунина. Великий мастер очень тонко передал человеческую потребность в любви. Потому и велик. Чаше всего попытки изображения «утончённых чувств» заканчиваются текстами, в которых эти чувства смазываются и пропадают или превращаются в назидательные ханжеские

декларации. Этим и переполнены все официальные антологии. А я люблю полнокровную поэзию. У неё больше изобразительных возможностей и она, мне кажется, честнее. Это и было главным требованием при отборе. А главным желанием – привлечь поэтов с «обочины», о которых мы уже говорили. Больше половины авторов ни в каких антологиях не печатались.

Одна из наших образованных читательниц возмутилась, как я посмел выделить всего шестнадцать строчек для Евтушенко и целых сто двадцать (!) отдать Льву Тарану, о котором даже в родном Красноярске мало кто слышал. Да так.

Справедливости ради. У Евтушенко и без меня предостаточно популяризаторов.

А, допустим, Наталье Нутрихиной из Санкт-Петербурга это же самое соотношение очень понравилось. Искал малоизвестных авторов, а у знаменитых старался выбрать не растиражированные стихи. Иногда брал принципиально эпатажных поэтов. Волкова, например, или Ирину Кадикову. А для контраста, чтобы дать страстям отдышаться, – Любовь Столица из Серебряного века.

Расширенный вариант книги можно посмотреть в интернет-альманахе «45-я параллель» или на сайте стихи.ру. Я добавил туда много женских стихов.

Женщины, вопреки устоявшемуся мнению, пишут «про это» более откровенно. Кто не поленился найти «Свойства страсти», может убедиться, почитав Нину Краснову или Елену Крюкову.

– Все знают строки Александра Сергеевича: «Мне грустно и легко; печаль моя светла; Печаль моя полна тобою...» А у Сергея Даниловича новая стихотворная книжица «Уходящее время» начинается с вопроса: «Откуда светлые стихи?» И тут же – ответ: «Из тьмы, как это ни печально». А дальше – крещендо этого ответа:

*И надо, что ни говори,
Не озаренье, не прозренье,
А нечто тёмное внутри,
Чтоб выдохнуть стихотворенье.*

То бишь, по Пушкину, стихи порождает «светлая печаль», а по Кузнечихину – «нечто тёмное внутри». Так?.. Ницше и Фрейд здесь бы поаплодировали. И не только они. Пушкин, может быть, – тоже, поскольку сознавал: «... и гений, парадоксов друг». Получается, чем больше поэт истемнён страстями, пороками и обстоятельствами, тем больше у него шансов на возвышенное?.. И это – как избавление...

– Если уж на то пошло, то «печаль моя светла» – не причина, а следствие. Первые-то строчки пушкинского стихотворения какие? «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» То есть и здесь «светлая печаль» порождена чем? «Ночной мглой». И народ вовсе не случайно утверждает, что чужая душа – потёмки. Понятно, что сочинители народ сложный. Но я давно заметил интересную особенность: бытовые тираны, обозлённые на весь мир или нечистоплотные в человеческих отношениях авторы, шадят своих героев,

рисуют их светлыми красками и заставляют совершать благородные поступки. Плюгавенькие и трусливые мужичонки живописуют подвиги суперменов. И наоборот, хоть я ангелов среди писателей не встречал, но вполне добропорядочные люди рисуют законченных негодяев и делают это весьма достоверно. Первые, мне кажется, пытаются замаскировать свои человеческие недостатки. А вторыми движет любопытство, желание заглянуть за черту, но страх и совесть не позволяют опуститься до уровня персонажей созданных собственной фантазией. Конечно, бывают и счастливые совпадения. Но не уверен, что это пойдёт на пользу стихам или прозе, рождённым от такого вот сонития. Инцест, как известно, ведёт к вырождению.

– У каждого своя степень удачи. Я был знаком со свердловским профессором Анатолием Алексеевичем Малаховым, с группой которого мы вместе искали клад Емельяна Пугачёва в одной из пещер реки Чусовой. Так вот, там, в тайге, он показал мне изобретённый им прибор и то, как он действует. С его помощью у человека определялось два коэффициента: интеллекта и удачи. Помню, Малахов рассказывал мне, что у Сталина был невысокий коэффициент интеллекта, но очень высокий коэффициент удачи. Выше, чем у Ленина. Если, допустим, сравнить Кузнечихина с Решетовым, то я, например, знаю, что мой нынешний собеседник увидел Чёрное море совсем недавно – в возрасте шестидесяти семи лет, оказавшись в Коктебеле на Волошинском фестивале. Алексей же Леонидович Решетов моря вообще не видел, в самолёте никогда не летал, около двадцати пяти лет отработав в Березниковской калийной шахте. Значит, можно сказать, что Сергей Данилович Алексея Леонидовича удачливее? «Ни премий, ни прений», как написал в эпиграмме на Решетова уже упомянутый Юрий Влодов.

У Кузнечихина в этом смысле есть преимущество: Сергей Данилович – обладатель Гран-при интернет-марафона «Сокровенные свирели «45-й параллели» с присланной ему лауреатской «Золотой розой». Кстати, по поводу этой самой «розы». Влодов, который поплёвывал на все титулы и премии, на мой взгляд, не имел высокого коэффициента удачи. Но при этом всё-таки выдавал желаемое за действительное: при случае любил вводить в состояние обожания несведущих, подчёркивая, что он-де – лауреат международной литературной премии... «Золотая роза». Как ты понимаешь, на ходу придумал. Ты, в отличие от него, эту «розу» хотя бы получил. Вообще, насколько нужна писателю «госпожа удача»? Или, напротив, «золотое клеймо неудачи», о котором в своё время обмолвилась Анна Ахматова, собственно, и делает из человека поэта? Вот переиначил бы что-то в писательской жизни своей, если получил бы на то Божье соизволение?

– Я даже рассказы не переписываю, а ты на жизнь замахиваешься! Язык правлю, добавляю или вычёркиваю детали, но сюжеты и характеры не меняю.

В советские времена заставляли, но я не переделывал. Не из упрямства или уверенности в собственном совершенстве. Просто не умею.

О приборе, определяющем коэффициент удачи, не знал. Интересная штука. Готов пройти испытание, хотя результат знаю наперёд. Коэффициент будет низким. В конце перестройки Свердловская киностудия заинтересовалась моей повестью «Пруха». Вызвали на семинар. Телеграмму принесли с грифом «Правительственная». В глазах почтальонши уважение, переходящее в заискивание. Я и командировочные получил. Потом встречу передвинули. Потом на студии что-то случилось – и обо мне забыли. Перестройка подарила надежду и сама же её разрушила. Чуть раньше, в восемьдесят втором году «Дружба народов» обещала напечатать повесть «Ноль пять». Приказали никому не предлагать. Ждать надо было около года. Я целомудренно ждал, тем более, что и предлагать некому. За это время они напечатали «Полтора квадратных метра» Бориса Можаева. Главред Баруздин получил выговор, а папка с моей рукописью скромненько возвратилась в Красноярск. Повесть вышла в «Советском писателе» в сборнике «Аварийная ситуация» в конце девяностого года, когда народ читал книги, о которых знал давно и наконец-то дождался. А если бы напечатали в восемьдесят втором, тогда бы, может быть... Но не напечатали.

Такие вот грустные отношения с гулящей девкой по кличке Удача. Лестно, что ты меня сравниваешь с замечательным поэтом Решетовым, но не будем лукавить, рассуждая об удачливости. Решетов к тридцати годам издал три или четыре книжки, причём одну из них уже в твердом переплёте. У меня первый самостоятельный сборник вышел в сорок пять лет. И вышел только потому, что перед этим Москва издала книгу прозы. Правда, родной Красноярск облагодетельствовал двумя брошюрками по двадцать четыре страницы в составе кассет, но и они выходили, когда мне было далеко за тридцать. А стихами в твёрдом переплёте я и в семьдесят похвастаться не могу, при наличии упомянутого тобою Гран-при и «Золотой розы» на полке. Любой премии я бы предпочёл достойно изданную книгу...

– Как уживаются в тебе поэт и прозаик? Пётр Вегин однажды заметил: «Во мне умирает прозаик – его отпевает поэт». Я знаю поэтов, перешедших на прозу и ничего другого (в смысле рифмованного или ритмизованного) делать не могущих. А Кузнечихин?.. Насколько присутствует прозаик Кузнечихин в поэте Кузнечихине? И наоборот: насколько поэт Кузнечихин не даёт покоя прозаику Кузнечихину? Я просто посвящён в некоторые особенности твоей поэзии, которые могут шокировать натуры утончённые или, по меньшей мере, заставить их поморщиться. Цитирую по памяти: «...провонявший от страха / и от пота – слепой, / через мины – на плаху / или в новый запой». Или – того круче, что, помнится, хором декламировали прибывшие в одночасье в Пермь поэты-дикороссы: «Как море в отлив убывает / бравурный аккомпанемент, / долги и гондоны всплывают / не в самый удобный момент...» А может, в случае с Кузнечихиным нет никакого противоречия между поэзией и прозой?

Вспоминаю сейчас твою давнюю повесть «Крестовый дом» о судьбах женщин первой древнейшей профессии и, несмотря на искус темы, не нахожу там

отпечатков пальцев, которые выдавали бы в прозаике поэта. Редчайший случай...

– Наш общий знакомый Саша Ёлтышев как-то написал: «А Кузнечихин пишет прозу / и так озлобленно при этом / шлёт за угрозою угрозу/ в себе живущему поэту.../. Он немного драматизировал их отношения. Озлобленности нет. Но, главное, Саша забыл упомянуть о третьем в этой компании – инженере-наладчике с большим стажем. Он-то и познакомил поэта с начинающим прозаиком. Инженер относился к творениям обоих сочинителей весьма иронично, но вовсе не потому, что ни того, ни другого не печатали, а на правах главного консультанта, критика и кормильца. Сочувствуя обоим, он предложил прозаику написать повесть и вмонтировать в неё стихи поэта. В качестве примера он привёл популярного в те времена Михаила Анчарова. Только потребовал, в отличие от Анчарова, – не возвеличивать своего героя до уровня талантливого поэта, а вложить стихи в уста какого-нибудь забулдыги. Повесть была написана, но издавать её никто не хотел. А поэта потихоньку начали печатать. Прозаик взревновал и выкинул почти все стихи из повести, сказав, что они нарушают стройность повествования. И был прав.

А если серьёзно: мне кажется, что поэтичность вредит прозе больше, нежели помогает. С первых рассказов старался избежать кровосмешения. Эталоном прозаика для меня всегда был и остаётся Чехов.

– Иными словами даже в цикле «Там гибли поэты» и в повести «Санитарный вариант, или Седьмая жена поэта Есенина», где всё те же поэты – действующие лица, ты этого «кровосмешения» не допустил?

– Мне кажется, это далеко не поэтическая проза. Поэты в ней всего лишь герои. А вот влияет ли прозаик на поэта? Если начну отрицать, наверное, слукавлю. У меня всё-таки много сюжетных стихотворений, а это, как ни крути, ближе к прозе. Мозги, наверно, так устроены?! И в этом виноват инженер-наладчик с большим опытом. Но натура частенько не желает подчиняться мозгам.

В оправдание могу сказать, что я не первый и не последний на этом распутье. В промежутке между Пушкиным и Романом Солнцевым достаточно длинный список имён. Кстати, и Юрий Беликов, в этом смысле тоже грешен.

Но, тем не менее, когда я начал писать прозу, редакторов почему-то раздражала эта «многостаночность». Чуть ли не в двоежёнстве обвиняли.

– Ты сам – из дикороссов первого призыва. То бишь участник получившей в своё время известность антологии «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)», увидевшей свет в московском издательстве «Грааль» в две тысячи втором году. Я не знаю, можно ли считать сие сообщество неким общественно-литературным движением, но, судя по тому, как на Волошинском фестивале в Коктебеле, где выступила четвёрка дикороссов, ко мне начали подходить некоторые участники этого феста и проситься «записать их в дикороссы», в нынешнем социуме существует некий запрос на *такую* поэзию и прозу. Что это за поэзия и проза? Как бы ты определил наличие или отсутствие дикоросского сознания в той или иной творческой личности? Отчего этот дикоросский запрос и, соответственно,

призыв возникает? И кого из классиков русской поэзии, прошлых и нынешних, ты бы «записал в дикороссы», а кого бы – ни в какую?

– В начале девяностых появилась многочисленная группа сочинителей с очень похожими стихами. Предположим, Некто захотел бы объединить их в новый «изм». И ничего бы из этого не получилось, потому что каждый автор стал бы отрешиваться от похожести и агрессивно настаивать на собственной самостоятельности. Поэтому бродскизма, в отличие от символизма или футуризма, не состоялось. Течение вышло из берегов, растеклось, превратилось в мелкие озёра или болота.

Стилистической близости у дикороссов нет и быть не может. Нас объединяет другое: тяга к воле, беспартийность (в широком смысле этого слова) и принципиальное нежелание идти по дороге, которая объявлена единственно правильной. Литературная мода для нас не икона, не идол, а, скорее, пугало. У издателей и столичных критиков наши творения не в чести. Их можно понять. И мы иногда вроде понимаем, но дикоросская поперёшность характера сопротивляется и не даёт свернуть на главную (по их мнению) дорогу. Если бы довелось выпивать с Пушкиным, я бы (захмелев и осмелев) предложил бы ему вступить в дикороссы. Мне кажется, он подходит по всем статьям. Без всяких сомнений записал бы к нам Дениса Давыдова, Некрасова, Цветаеву, Тинякова, Есенина, Георгия Иванова, Павла Васильева, Леонида Мартынова, Анну Баркову. Из невозведённых в классики обязательно пригласил бы Вениамина Блаженного, Владимира Корнилова, Глеба Горбовского, Валентина Устинова, Михаила Анищенко, Веру Кузьмину. Называю имена и тихо посмеиваюсь: кое-кто из них наверняка содрогнулся бы от предложенного соседства. Но на то они и дикороссы, чтобы, в том числе, содрогаться и поперёшничать. Несмотря на героическую биографию, не стал бы записывать в этот «полк» Гумилёва, потому что у него диктаторские замашки. По тем же причинам отказал бы Брюсову и Маяковскому. Я не люблю снобов, поэтому отказал бы Ахматовой, Бродскому и Кушнеру. Вне списков остались, например, Клюев, Блок, Пастернак, которых очень уважаю, но они другие.

– Два года назад в известном столичном издательстве «Эксмо» была издана книга твоей прозы довольно внушительного объёма (свыше шестисот страниц!) с названием, в котором заложена полемика: «Бич-рыба» (сразу вспоминается астафьевская «Царь-рыба»). Конечно, разницу между царской особой и бичом (бывший интеллигентный человек, кто не знает) объяснять не надо. И всё-таки – чем продиктована эта полемика, чем принципиально отличаются художественные миры Виктора Петровича Астафьева и Сергея Даниловича Кузнечихина? И почему (вот уж бы никогда не подумал!) «Бич-рыба» вышла в серии Index Librorum, что означает «интеллектуальная проза для избранных»? Хотя, как я понимаю, главный герой кузнечихинской панорамы русской провинциальной жизни Алексей Лукич Петухов, о чём свидетельствует и аннотация, ведёт свою генеалогию от вполне народного персонажа – барковского Луки Мудищева...

– Не стану юлить и отнекиваться: дескать, случайно получилось, помимо воли сорвалось с языка... Нет, всё сделано в полном здравии и твёрдой памяти. В близкое окружение Астафьева я никогда не лез, рукописями своими не обременял, предисловий не просил, стихов ему не посвящал. Когда вышла «Омулёвая бочка», на каком-то собрании решился осчастливить классика книжкой, всё-таки о рыбалке, а страсть сия уравнивает и генералов и рядовых. Подписал: «Создателю «Царь-рыбы» от сочинителя «Бич-рыбы». Или что-то в этом роде, точно не помню. Но слово придумалось именно в тот момент. Рассказа «Бич-рыба» тогда ещё не существовало. Астафьеву, как мне показалось, надпись не понравилась, посмотрел на меня довольно-таки холодно, но ничего не сказал. А я ничего не спросил. Не в моих привычках. Рассказ написал лет через пять. Никакой полемики с Астафьевым у меня даже в мыслях не было. С Распутиным – другое дело.

Валентин Григорьевич в повести «Пожар» чуть ли не главной бедой Сибири объявил приезжий народ «архаровцев» (словечко, между прочим, заимствовано у Лескова). На приезжих грешили всегда, дескать, понаехали и сразу пошло воровство, драки, разврат... А в жизни частенько случается обратное. Стоит появиться в посёлке заезжим строителям или монтажникам, как просыпается местная шушера и творит свои грязные делишки, благо есть на кого стрелку перевести. Об этом рассказ «Сообщники». В «Бич-рыбу» он не вошёл по техническим причинам, издательство ограничило объём книги, и за бортом осталось больше двадцати рассказов.

И всё-таки твой вопрос более чем уместен. Моя книга о другой Сибири. Во-первых, изменилось время, но главное, что Астафьев и Распутин писали о потомственных сибиряках, а я, в основном, об «архаровцах», которых они не жалуют.

Между прочим, не лишне уточнить, что все русские сибиряки вышли из «архаровцев». При желании нетрудно сопоставить царя и бича, потом провести параллели и подправить меридианы.

Почему книга появилась в серии для избранных интеллектуалов? Не знаю.

В издательскую кухню «Эксмо» я не вхож. Может быть, решили познакомить читательскую элиту с настоящей Россией?

– И представляющий «настоящую Россию» Алексей Лукич Петухов, это своего рода современный шут Балакирев, юродивый, коим издревле на Руси позволялось то, что запрещалось другим. А именно: говорить истину с улыбкой на устах сильным мира сего. В Петухове сконцентрировалось дикоросское сознание, чьи зарубки ты уже обозначил. Складывается впечатление, что «Бич-рыба» для Кузнечихина – это книга жизни. Не только потому, что она – о многих её «ползучих» проявлениях, которые создатели «интеллектуальной прозы для избранных», вообще-то, обычно обходят стороной. Однако и потому, что она наверняка писалась на протяжении всей жизни? Но меня интересует, как прорастал Алексей Лукич в Сергее Даниловиче? Когда впервые постучался и по какому поводу?

– Самоуничтожение паче гордости – очень характерно для русского человека. Петухов – типичный русский мужик. Он вроде и широк, но при этом сам себя старается заузить. Не в поступках. На словах. Называет себя бичом, а присмотреться – какой же он бич? Его можно упрекнуть, что часто меняет работу. Но ведь работает. И работает не плохо. Может и машинку швейную починить, и мотор лодочный перебрать и регулятор наладить – мастер на все руки. И, в общем-то, человек ответственный. Недоделанную работу не бросит. Может выпить, но не пьяница. При желании, мог бы даже профсоюзную карьеру сделать. Но ему скучно быть положительным героем. Неинтересно на этом самом мейнстриме. Его всегда тянет свернуть на обочину и поискать более короткий путь. А то, что попытка срезать угол и выиграть время заканчивается долгим блужданием с преодолением неожиданных препятствий, на это он не ропщет и от новых промахов не зарекается (здесь он, пожалуй, крепче дикороссов пишущих).

Авторские заявления, что первоначальный замысел изменился не по воле сочинителя, а по настоящему требованию героя, уже превратились в штамп. У меня подобного не случалось. Когда садился за повесть, я всегда знал, чем она закончится. А если не знал – не садился. А Петухов заартачился, характер показал. Даже теперь, когда книга, на мой взгляд, закончена, он все ещё домогается со своими историями.

Первые рассказы появились в восемьдесят пятом году. Сплавливались по речке Имбак и угодили в затяжной дождь. Выбираться из палатки ни желания, ни смысла. Чтобы как-то скрасить время и поддержать боевой дух связчиков, забавляю их весёлыми историями. Рассказал, как в Дудинке попил из проруби и у меня начала смерзаться борода, ощущение такое, словно кто-то вцепился в неё и тянет что есть сил. Боль чувствую, а понять не могу, кому челюсть моя не понравилась. Потом рассказал, как в той же Дудинке знакомый мужик поймал нельмушку и, чтобы рыбнадзорцы не оштрафовали, отрубил ей голову и приладил щучью. Дождь не кончается, приходится ещё что-то придумывать, слушателям деваться некуда, слушают. А друг мой Гамлет Арутюнян возьми да и скажи: «Запиши, Серёжа, авось и напечатают, крамолы-то никакой».

– То бишь всем последующим всплескам «Бич-рыбы» человечество обязано двум стихиям – затяжному дождю и... Гамлету? «Бич» или не «Бич», вот в чём вопрос...

– Во многих интервью кочуют две фразы «Хороший вопрос» и «Спасибо за вопрос». Первую прими на свой счёт, а вторую переадресуем сначала Шекспиру, а потом Лаврентию Павловичу, который отправил отца Гамлета поработать в Сибири и маму его, сельскую учительницу из центральной России, – тоже по статье № 58.

А у меня выхода не было. Я ответил: «Бич»!

К тому времени почти вся моя «серьёзная проза» лежала в столе неоднократно отвергнутая редакциями, и надежда на публикацию еле теплилась. Вернулся в город. Записал. Где-то, через год рассказы взяли на радио. Не центральное.

И даже не краевое. Эвенкийское. В газеты попали чуть позже. Но, главное, сам увлёкся. Проза, которую писал раньше, в том числе, «Крестовый дом», о котором ты уже сказал, была строго реалистичная, а здесь появилась возможность пофантазировать, поиграть словом. Сказ очень гибкий и вольный жанр, в нём есть, где разгуляться дикороссу. Вначале были только рыбацкие рассказы. Полагал, что на них Петухов и закончится. Потом забрёл на выставку Владимира Капелько, увидел панно под названием «Утро в деревне Косая» (или Кривая, точно не помню). На огромном холсте весёлый художник разбросал пёстрые сюжеты, изображающие пробуждение в разных избах, на сеновалах, на берегу речки... Тут-то и появилось желание сотворить нечто подобное, но более масштабное. Не о деревне, а о России. И Петухов для замысла был самым подходящим героем. Можно сказать, что не мне, а ему пришла эта идея, и он нагло заявил, что без Алексея Лукича, мне бы до такого не додуматься и задуманное не завершить. В конце концов, у него даже рыбацкие истории не столько о рыбалке, сколько о людях.

– Книга твоя густо населена. Иногда читаешь хорошую вроде прозу, даже можешь получить некоторое удовольствие от мастерства автора, потому что герои тщательно прописаны, поступки их оправданы, но не оставляет ощущение, что этих людей ты уже где-то видел, читал о них у других авторов. Петухов рассказывает не только о себе. Он без церемоний знакомит со своим пёстрым окружением. И я сразу отметил: многие из его друзей или врагов раньше в русской литературе, пожалуй, не встречались. Взять хотя бы пожарника с медсестрой, братьев Саниных, Мстителя, Мубуту, Перепёлкина, Дядьку, Клиндухова, Красного селькупа. Хотя, Торела, на мой взгляд, – из шукшинских чудиков.

– С Торелой ты, наверное, прав. Думаю, если бы Василий Макарыч встретил его, не удержался бы, вставил в рассказ. Но не встретил. Оставил мне. Красного селькупа один главный редактор отказался печатать, сказав, что он не похож на селькупа. Полагаю, что он сравнивал с Дерсу Узала, которого сто лет назад подарил нам замечательный путешественник Арсеньев. С тех пор Узала под разными именами кочует от одного автора к другому. А мой селькуп не может на него походить, хотя бы потому, что закончил ВПШ, долгое время находился на руководящей работе и вернулся к исконным занятиям только после того, как райком перестал существовать. И второе, весьма существенное отличие, рассказывает о нём не интеллигент, скованный политкорректностью, а рабочий мужик, у которого нет желания и необходимости притворяться. Тоже самое и с рассказом «Оккупант». Я с уважением отношусь к смелости вышедших в шестьдесят восьмом году на Красную площадь. Но теперь этот протест хотя бы представить чуть ли не всенародным. Не было такого. Народ, кроме тех, у кого близкие оказались в Праге, можно сказать, не обратил внимания на государственную акцию. Да что народ, если признанный бунтарь Высоцкий пел:

*...Занозы не оставил Будапешт,
А Прага сердце мне не разорвала...*

Уже в нашем веке, когда рассказ был написан, мне довелось слушать телевизионную беседу Познера и Гайдара. На вопрос ведущего: «Когда вы разочаровались в советской власти?» Егор Тимурович, не задумываясь, ответил: «Когда русские танки вошли в Прагу». Потомку автора «Тимура и его команды» в это время было двенадцать лет. Страшно представить с какими душевными муками разочарованный вундеркинд упорно поднимался по карьерным ступенькам презираемой им власти. Петухов во власти не разочаровывался, потому как никогда не клялся ей в любви. Не волновала его и реакция просвещённой Европы. Но ему жалко было парня, которому Прага надломилась душу. Не друга, а просто земляка. Такими людьми я и старался заселить книгу, чтобы панорама получилась, насколько это возможно, полной.

– Причём – не только заселить не затёртыми в современной литературе героями, но и наполнить свежими сюжетными ходами, которые, впрочем (Бог – свидетель!), склонны проявляться в обыденной жизни. Вот тебе пример. На днях пошёл выгуливать собаку. Ранее утречко... Вдруг смотрим (я и собака, которая тоже удивилась): навстречу мужик с корзиной. Я, как твой Алексей Лукич, «заглядываю в корзину»...

– «А там одни мухоморы»?..

– Точно! «Молоденькие. Крепкие. Ядовито-красные». Как в кузнечихинском рассказе «Странный гость». Я сразу вспомнил твои путеводные строки о том, что «странника видели не испорченные газетами люди, причём трезвые», а я же, хоть и «трезвый», но, сам понимаешь, «испорченный газетами». Но, тем не менее, – лицезрю мужика с мухоморами. Честно говорю: чтобы стряхнуть наваждение, в этом месте я захохотал, ибо знаю, что клин клином вышибают и «странным» всегда убедительно долбануть по «странному». В ответ прилетело: «Ещё и смеётся!..» И тут я воспроизведу поставленные тобою же в конце рассказа вопросы: «Кто это был? Зачем он явился к нам с корзиной мухоморов? Может, какой знак подать хотел?» В рассказе твой Лукич отмахнулся: «Не знаю». А что молвит Данилыч?

– Знаю, но не скажу, потому что могу сглазить.

– Прямо-таки притча! Вообще твой Петухов изъясняется ими довольно часто. И хотя москвич Максим Лаврентьев, написавший несколько веских слов для задней обложки «Бич-рыбы», возводит твою генеалогию к Зоценко, Лескову и Гоголю, я бы отправил читателя ещё дальше – к пушкинскому Пугачёву из «Капитанской дочки!» Во-первых, у Пушкина – Савельич, у Кузнечихина – Лукич. Оба – из народа. Во-вторых, там ведь Емельян Иванович тоже горазд до притч: «Орёл клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!» А вот речь кузнечихинского персонажа из рассказа «Странный гость»: «Орёл, утёр деревне нос, хорошие грибы, только здесь не Питер. «Скорую помощь» не вызовешь, а до районной больницы успеют ли довести – не знаю». Как ты считаешь, притчевое иносказание – порождение конкретного времени, в котором довелось сформироваться автору, или свойство

русского народного сознания, восходящего к речи юродивых и кликуш, и тех же легендарных шутов при царском дворе?

– О литературной генеалогии я как-то не задумывался. Просто мне хотелось написать весёлую книгу о России, о русском мужике, непохожем на солдата Чонкина, открытом, но не без лукавинки. А если он немного юродствует, так это не психическое отклонение, а маска, без которой не выживешь, если начнёшь говорить правду при тотальном ханжестве. Теперь, когда тотальное ханжество превратилось в тотальный цинизм, нужна другая маска.

– Неужто – «Золотая»?!

– Нет, Юра... От «Золотой маски» правды не дождёшься. Зачем она ей? Только во вред. Боюсь, что бандитская, или какого-то другого человека с ружьём.

– Читая «Бич-рыбу», поймал себя на мысли, что её, как некогда «Горе от ума», можно всю растащить на цитаты. Книга начинена крылатыми выражениями, но не подчёркнуто претендующими на афоризмы, а как бы обронёнными вскользь, между делом. Например: «Какая радость от полированной мебели, если удобства в конце коррид ора?», «Старый дёготь, что кривой ноготь, маникюром не закрасишь», «Кого-то язык до Киева довёл, а меня до профкома», «Мужья начальниц – работники неважные, но уметь пить они обязаны...», «...а я – дурак обыкновенный, для того, чтобы на меня посмотреть, не надо включать телевизор, достаточно выйти на улицу». Известно, что авторы в процессе работы над тем или иным творением пользуются записными книжками, откуда они выуживают нужное в данный момент. Это – нормально и называется внутренней авторской лабораторией. Но откуда черпает свои «лукизмы» Сергей Данилович? Они рождаются в процессе возникновения текста или берутся со «склада заготовок»?

– Записными книжками пользоваться не умею. Пробовал, не получилось. Кочевой образ жизни, долгое отсутствие «рабочего стола», разгильдяйство и прочие недостатки характера не способствовали систематизации. Бывало, запишешь, а в нужный момент этой записи под рукой не оказывается. Сиди, гадай, что нацарапал в книжке – лишняя трата нервов и потеря рабочего настроения. Приходилось надеяться на память. К тому же, писалось в рукопашную, потом переписывалось, потом перепечатывалось на машинке, как минимум два раза. В процессе переписок эти «перлы» и рождались. Иногда использовал известные поговорки. Но поскольку Петухов не Попугаев, повторять слепо он не соглашался – переделывал и добавлял своё. Плюс ко всему отец мой Данила Александрович постоянно выдавал сочные афоризмы, но лучшие из них, повинуваясь новому закону, печатать нельзя.

– Но я-то, видимо, от тебя, Данилыч, поднабрался – от поговорок петуховских. Намедни раскрыл твой одноимённый рассказ «Бич-рыба», и разглядел сделанную ранее собственную пометку карандашом, как некую подначку автору: «Начал про налима, а хвалу воздал ершу». Вот у Астафьева всё понятно: «Царь-рыба» – осётр. Это даже в памятных знаках запечатлено – что у вас по дороге в Овсянку, что у нас – возле ставшего ныне музеем дома, построенного

в Чусовом ещё мало кому известным Виктором Петровичем. Посему ты уж скажи как рыбак рыбаку, тем более, если речь о некоей видовой особенности, давшей название всей книге: «Бич-рыба» – это всё-таки налим или ёрш?

– На Енисее и для налима, и для ерша есть общая характеристика – сорная рыба, но чтобы придать книге хоть какой-то вес, можно вспомнить знаменитое ахматовское: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» – ну, и так далее. К тому же начать одним, а потом резко свернуть в сторону для Алексея Лукича весьма характерно. Стройности рассказа это, может, и мешает, но человек он вольный, ему законы не писаны. В отличие от ерша и налима, с осётром намного сложнее. Ты знаешь, какой штраф за него? Поймают рыбнадзоровцы с хорошим уловом – без штанов останешься. Виктору Петровичу, как лауреату Государственной премии и другу двух президентов, скорее всего, простят. А Петухову (или мне) до смерти придётся расплачиваться. Кстати, в Дудинке рыбаки называют осетра ершом и детишек своих к этому приучили, на случай если ребенку вдруг похвастаться захочется. А то ляпнет в неподходящей компании, дойдёт до чужих ушей, а следом и неприятности подкрадутся. Приятель мой, Миша Хомайко, родом из деревни Дворец, которая сейчас на дне нового рукотворного моря, рассказывал, что охотники у них выходили на промысел затемно, чтобы избежать лишних глаз и лишних разговоров. Осторожный народ.

– Только теперь до меня докатилась вся подспудная мощь замысла Кузнечихина!.. Оказывается, «Бич-рыба» – это альтер эго «Царь-рыбы»?!

– Я тоже вроде осторожничал, но ты разговорил меня. И я расслабился. Проболтался. Теперь знатные литературные особы, которые ведают, как и о чем писать, обвинят меня в самозванстве и закатают в асфальт большака, чтобы никто не нашёл. Представь себе центральную магистраль, по ней мчатся роскошные автомобили, в кустах прячутся разбойники с большой дороги, а на обочинах зазывающе улыбаются девушки с трассы, а под асфальтом покоятся нежелательные свидетели...

– Что касается «нежелательных свидетелей», большаков, мейнстримов и прочих единственно верных дорог... Помнишь, как в «Разговоре с комсомольцем Н. Дементьевым» Эдуард Багрицкий писал: «А в походной сумке / Спички и табак, / Тихонов, / Сельвинский, / Пастернак...» Это, как говорится, один вариант мейнстрима. Давнего. Были и другие «столбовые дороги» – «секретарские»: Всеволод Кочетов, Георгий Марков, Анатолий Иванов. Но пыль на этих дорогах, если не считать некоторых экранизаций, быстро улеглась. Был и остаётся диссидентствующий мейнстрим: Солженицын, Аксёнов, Войнович. Там до сих пор пыльно. Удивительное дело: как ни старались приспособить туда творчество Варлама Шаламова, он всё равно ушёл в сторону. Однако существовал и большак – Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов. Сейчас вот тоже, если смотреть исключительно телевизор, в России «три анимационных богатыря» – Прохан, Прилепа и Шаргунишка. Не будем про «богатырей». На них всегда найдётся Соловей-разбойник. Но некоторых-то

и трогать не моги – икона. И тут я вспоминаю практически притчу из книги Ларисы Васильевой «Душа Вологды». Описывая свои встречи с девяностолетней, жившей в лондонской эмиграции полумифической Саломеей Андрониковой (та самая Соломинка, которой посвящал стихи Мандельштам), Лариса Николаевна, в свою очередь, передаёт её реакцию на прочтение книг Астафьева, Распутина и Белова. На «Живи и помни» Распутина: «Это серьёзно». На «Плотницкие рассказы» Белова: «Белов поскучнее, хотя пишет ярче». А вот – на «Царь-рыбу» Астафьева: «Этот самый сильный из всех ваших «деревенских». Он не деревенский. У него тяжёлые подвалы в душе. И тёмная вода в глазу...» А? Как тебе нравится эта «тёмная вода в глазу»?! А ведь Саломея, которой посвящал стихи не только Мандельштам, но и – Ахматова и которая состояла в переписке с Цветаевой, конечно же, не ведала об этой особенности астафьевского зрения – про то, что он видел одним глазом! Но как видел?! Так, что, по её мнению, мог дать фору четырём другим зракам – Распутина и Белова. Любопытно, что в разговоре со мной прозаик Владимир Крупин, иногда причисляемый ко второму эшелону того самого большака, однажды сказал, имея в виду художественную особенность Астафьева и не зная о той реплике Саломеи: «У него – звериный глаз!» Согласен ли ты с приведёнными характеристиками?

– Без оговорок. Глаз уникальный. Ярче Астафьева природу в русской литературе не живописал никто. Мастера были. Но я говорю о яркости, даже о ярости, можно сказать. Глубоко сомневаюсь, что его можно равноценно перевести на иностранный язык. Или – язык кино. Здесь, в отличие от иностранного, нетрудно понять насколько киноверсия слабее прозы. Но я догадываюсь, что ты спросил о другом. Давай вспомним о замечательном стилисте Георгии Семёнове, которого тоже можно назвать кудесником русского языка. Нет, с кудесником я поспешил. Это не о Семёнове. Ему больше подходит – волшебник. И притча тут выстраивается таким образом: с Астафьевым они начинали почти одновременно, издательская судьба Семёнова была тоже достаточно удачной, а заслуженной славы не было. Почему? А не потому ли, что в его глазу отсутствовала та самая «тёмная вода»?